

Н. Н. Петрунина

Из истории одного замысла Пушкина

„Записки молодого человека“

Среди неосуществленных замыслов Пушкина есть один, издавна привлекавший особое внимание исследователей. Сам поэт в ходе работы над „Станционным смотрителем“ определил его как „Записки молодого человека“. В 1930 году Ю. Г. Оксман, раскрывший „декабристскую“ тематику этого фрагмента, предложил для него другое название — „Повесть о прапорщике Черниговского полка“. Как показывают первые строки оставленной повести, она была задумана как рассказ от лица вымышленного персонажа — молодого прапорщика, который в мае 1825 года едет из столицы к месту службы, в местечко Васильков, где в конце декабря того же года разыгрался второй акт трагедии декабристов — восстание Черниговского полка, разгромленного правительственными войсками. Историко-политический аспект этого замысла был подробно прокомментирован Оксманом¹, а в последнее время с привлечением дополнительного материала тонко исследован Н. Я. Эйдельманом². В настоящей же заметке мы хотим осветить другую сторону вопроса: взаимоотношение „Записок молодого человека“ с одновременными и позднейшими творческими замыслами Пушкина — поэта и прозаика, место их в становлении его художественной прозы.

В начатых в 1828—1829 годах и также оставшихся незавершенными повести „Гости съезжались на дачу“ и „Романе в письмах“ Пушкина привлекали герои со сложным внутренним миром. Мужские персонажи здесь наделены способностью проинтуитивно угадать в „частных“ проявлениях „домашней“, повседневной жизни светского общества отражение глубинных процессов, характеризующих современное его состояние, и увидеть эти процессы в исторической перспективе. Другими словами, „готовый“, сложившийся до начала действия герой оказывался на уровне пушкинского сознания действительности, как это было и в незавершенном историческом романе „Арап Петра Великого“ (1827). Не менее примечательная особенность названных и других прозаических опытов конца 1820-х годов — постоянная смена типов повествования. „Записки молодого человека“, как говорит уже пушкинское их название, будучи существенным звеном исканий Пушкина-прозаика, отмечены в их ряду легко уловимыми чертами своеобразия: авторское слово уступает в них место слову персонажа, и персонаж этот — юноша, едва покинувший стены Кадетского корпуса и вступающий в жизнь, — заметно отделен от автора.

Форма записок с их доверительной исповедальностью и вместе с тем — свободная от игрового начала и жанрово-этикетных призм дружеского письма, как сложилось оно в 1810-х годах в кругу арзамасцев, избрана Пушкиным не случайно. Она открыла перед ним возможность раскрыть со всей непринужденностью духовный

¹ Ю. Г. Оксман, Повесть о прапорщике Черниговского полка. — „Звезда“, 1930, № 7, с. 217—222.

² Н. Я. Эйдельман, Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта. М., 1984, с. 119—124.

облик мемуариста, прослеживая целую гамму сменяющих друг друга настроений и особенности мировосприятия вчерашнего кадета, еще не растратившего юношеской свежести чувств и непосредственности. От восторженного ощущения открывшейся перед ним свободы молодой человек под влиянием реальных путевых впечатлений нечувствительно переходит во власть скуки. Однако чтобы понять смысл, который Пушкин вкладывал здесь в понятие „скуки“, нужно выйти за пределы „Записок“ и сопоставить их с ближайшими по времени произведениями поэта.

„Записки молодого человека“ Пушкин писал судя по всему тогда же, когда создавалась восьмая по первоначальному плану глава „Евгения Онегина“ — „Странствие“. С незавершенной повестью ее роднит не только тема дороги, но и ряд более частных мотивов и деталей описания. Сближение это обусловлено тем, что оба произведения, как и писавшийся позднее „Станционный смотритель“, генетически связаны со стихотворением П. А. Вяземского „Станция“, появившимся в альманахе „Подснежник на 1829 год“, который вышел в свет 4 апреля 1829 года. „Станция“, в которой Вяземский с присущим ему блеском иронической экспрессии сопоставил польскую почтовую станцию, ее уют и человеческую приветливость со станцией русской, где несчастный путник страдает от голода и неопрятности, побудила Пушкина к спору с Вяземским³. Отголоски этого спора слышатся и в „Записках“, и в „Странствии“.

Мысль „увидеть Русь“ рождается у Онегина под влиянием „патриотического“ порыва, не выношенного, но по ироническому определению автора, „мгновенно“ овладевшего скучающим героем⁴. Реальная же Россия, которую наблюдает он через окно дорожной коляски, не затрагивая ни мысли, ни чувства героя отзывается в нем неодолимой „тоской“. Система мировосприятия Онегина остранена не только посредством авторской иронии. Ей противопоставлена собственная позиция автора-повествователя — своего рода мировоззренческий и эстетический манифест, воплощенный в обширном лирическом отступлении. Скромная поэзия простой русской природы торжествует в этих строфах над экзотикой и романтическими эффектами, причем — и это особенно важно здесь подчеркнуть — влечение к необычному и идеальному Пушкин мыслит теперь как свойство юности и, напротив, в любви к простой красоте обыденного видит проявление трезвости зрелого ума и вкуса. Но хотя Онегин перешагнул за порог молодости с ее романтическими порывами, он далек от трезвого и внимательно-вдумчивого отношения к миру и в этом смысле противопоставлен автору. Он ближе к Вяземскому, впрочем не как индивидуальности, а скорее типологически: для Вяземского быт почтовой русской станции интересен лишь как повод для трагедийной игры, странствующий же Онегин воспринимает жизнь сквозь призму „русской хандры“, его скептическая ирония не в силах одолеть „тоски“, ставшей второй натурой разочарованного героя.

³ См.: В. В. Виноградов, *Стиль Пушкина*. М., 1941, с. 465—468; W. Lednicki, *Bits of Table Talk on Pushkin, Mickiewicz, Goethe, Turgenev and Sienkiewicz*. The Hague, 1956, с. 13; С. Г. Бочаров, *Поэтика Пушкина*. Очерки. М., 1974, с. 158—159; Г. М. Фридендер, *Поэтический диалог Пушкина с Вяземским*. — В кн.: *Пушкин. Исследования и материалы*, т. XI. Л., 1983, с. 170—173.

⁴ И. М. Дьяконов, *Об истории замысла „Евгения Онегина“*. — В кн.: *Пушкин. Исследования и материалы*, т. X. Л., 1982, с. 96—97.

Молодой прапорщик из „Записок“ тоже далек от интереса к жизни как она есть. Неслучайно вид, открывающийся перед ним из окна почтового домика, где юноша томится в ожидании лошадей, и то, что наблюдает он во время недолгой своей прогулки по деревне, до деталей сходствует с картинами среднерусской природы и простонародной жизни из лирического отступления „Странствия“. Но то, что в „Странствии“ утоляет насущную потребность души героя-повествователя, созревшей для „жизни действительной“, открывшей для себя поэтическую прелесть ее простейших проявлений, в „Записках“ гнетет романтически восторженного юношу „скукой“, которая сродни онегинской „тоске“, хотя и происходит от другого корня.

Примечательно, что на этот раз Пушкин наделяет равнодушием к прозе жизни неискущенного юношу. Сознание героя, еще не освободившееся от школьных прописей, далеко от скепсиса и иронии — продуктов ума разочарованного. Поэтому люди, вещи, отношения, принадлежащие миру почтовой станции, предстают в своих *истинных* очертаниях: молодой человек отвергает этот мир как мир скуки, но видит и описывает его таким, каков он есть. В то время как станция Вяземского отражается в деформирующем зеркале авторской иронии, „Записки“, помимо желаний их автора, доносят до нас облик и „кривого смотрятеля“, и его домашних, и заброшенной деревушки, причем все это живет немудрящей, но до осязаемости достоверной жизнью. Мир, пронесившийся мимо дорожного экипажа, остановился, рядовая, ничем не замечательная станция обрела свое лицо, а ее жизнь — само-движение.

Современному читателю, да и историку литературы „Записки молодого человека“ памятны более всего тем, что в них впервые сложилось описание картинок с изображением истории блудного сына, которые обрели исключительное значение в повествовательной структуре другой пушкинской повести — „Станционного смотрятеля“. В „Записках“ картинки являются объектом особого внимания юного путешественника, по-школьному чувствительного к их назидающей мудрости. Описывая их, молодой человек простодушно судит „отрока Библии“. Черновые варианты автографа наводят на мысль, что Пушкин, умножая и усиливая оценочные эпитеты, стремился через эти эпитеты охарактеризовать тип восприятия, свойственного не знающему живни юноше⁵. Существенно и другое: сам герой, подобно персонажу библейской притчи, нетерпеливо рвется вдале⁶. Скромному миру почтовой станции нечем привлечь его: скуку вынужденной остановки прапорщика в пути и в осуществленной части „Записок“, и в оставшейся нереализованной программе дальнейшего рассказа рассеивают и действие движут люди и события, приходящие на маленькую станцию извне, и в этом — высшая правда душевного облика „молодого человека“, который „с восторгом“ устремляется навстречу открывающейся жизни. Какой след пребывание на станции должно было оставить

⁵ Красноречивая деталь, характеризующая героя: вчера он еще твердил надоевший немецкий урок, а сегодня „с удовольствием“ прочитывает под картинками немецкие стихи и списывает их, „чтобы на досуге перевести“.

⁶ В. И. Тюпа, Притча о блудном сыне в контексте „Повестей Белкина“ как художественного целого. — В кн.: Болдинские чтения. Горький, 1983, с. 74—75. Автор проследил в тексте „Записок“ параллель эпизоду „ухода“ блудного сына из отчего дома и справедливо заключил, что по замыслу Пушкина притча „задавала ключ к последующему сюжетному развитию и его осмыслению“.

в его душе, мы можем лишь догадываться. Тип героя, время действия — май 1825 года, место назначения юного прапорщика — Черниговский полк, местечко Васильков, тень надвигающихся исторических событий позволяют заключить, что Пушкин замыслил повествование о юноше, проходящем школу жизненного воспитания в 1825 году в условиях брожения Черниговского полка и его открытого антиправительственного выступления.

Первый исследователь „Записок“ Ю. Г. Оксман не только расшифровал буквенные обозначения места назначения героя и осознал ключевую роль этих сведений для понимания пушкинского замысла. Исследователь соотнес текст наброска и его реализованную лишь частично программу с известным эпизодом восстания Черниговского полка — историей „появления и гибели“ в его рядах „девятнадцатилетнего Ипполита Муравьева-Апостола. Только что произведенный в прапорщики, он выехал зимою 1825 года из Петербурга к месту своего назначения в Тульчин, дорогой, рассчитывая на свидание с братом, свернул в Васильков, куда неожиданно попал в самый разгар восстания, с энтузиазмом встал в ряды революционных черниговцев, при столкновении с правительственными войсками был тяжело ранен и, не желая пережить разгрома мятежников, застрелился“⁷.

Трагедия, обрушившаяся на семью Муравьевых-Апостолов (из трех братьев-участников восстания Черниговского полка, старший, Матвей, был осужден на пятнадцать лет каторги, Сергей повешен, младший, Ипполит, застрелился на поле боя) несомненно была известна Пушкину. Следует к тому же заметить, что история И. И. Муравьева-Апостола — не единственный случай самоубийства среди мятежных офицеров-черниговцев. В ночь после поражения восстания покончил с собой А. Д. Кузьмин (? — 1826) — воспитанник первого Кадетского корпуса, поручик, член общества соединенных славян. По свидетельству М. И. Муравьева-Апостола, Кузьмин, еще в 1823 году бывший сторонником телесных наказаний, под воздействием его увещаний неузнаваемо изменился: „вступил в солдатскую артель своей роты“ и жил „с нею, как в родной семье“⁸.

Трудно судить, в какой мере подобные сведения стали достоянием молвы и дошли до Пушкина. Несомненно одно — связь его замысла 1829 года с событиями 1825 до 1826 годов. „Прапорщик Пушкина — „бедный прапорщик армейский“, а не аристократ Муравьев-Апостол“, — писал уже Оксман⁹. На страницы повести герой „Записок“ приходит не будучи членом тайного общества, тем более не служит он связным между северянами и южанами. Н. Я. Эйдельман, отметивший последнее обстоятельство, обратил внимание и на другое: Ипполит Муравьев-Апостол держал путь из Петербурга на юг в декабре, герой же замыслившейся

⁷ А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в 6-ти т., т. IV. М.—Л., 1936, с. 768 (примечания). Для исторического облика И. И. Муравьева-Апостола (1806—1826) существенно, что еще в Петербурге он стал членом Северного общества и, направляясь по делам службы в Тульчин, вез с собой письма С. П. Трубецкого к М. Ф. Орлову — в Москву, и к С. И. Муравьеву-Апостолу — в Васильков, извещавшие о подготовке петербуржцев к выступлению. Приказ об аресте И. И. Муравьева-Апостола и о доставлении его в Петербург был отдан еще до выступления черниговцев (см.: Восстание декабристов. Материалы, т. VI. М.—Л., 1929, с. 318).

⁸ М. И. Муравьев-Апостол, Восстание Черниговского полка. — В кн.: Мемуары декабристов. Южное общество. М., 1982, с. 195.

⁹ А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в 6-ти т., т. IV, с. 769.

Пушкиным повести — в мае¹⁰. Все это не такие мелочи, как может показаться на первый взгляд. Для замысла Пушкина существенно важно, что юный прапорщик едет в Васильков за полгода до событий. Благодаря этому перед художником открывалась возможность проследить, что привело молодого офицера в ряды заговорщиков. Пока же, в написанной части повести, герой успел лишь проявиться как натура чистая, впечатлительная, радостно устремляющаяся навстречу „приключениям“, которые несет с собой жизнь, свободная от надоевших уроков. Сохранившийся план („Смотритель. Прогулка. Фельдъегерь. — Дождик. Коляска. Gentleman. Любовь. — Родина“ — В кн.: Пушкин, Полн. собр. соч. в 17-ти т., т. VIII. [М.-Л.] 1948, с. 951), по справедливому замечанию Б. В. Томашевского, „говорит только о начальных эпизодах“¹¹.

Дополнительные возможности для суждения о замысле в целом несет с собой догадка В. И. Тюпы относительно сюжетных функций, которые имело в „Записках молодого человека“ описание картинок с историей блудного сына, перенесенное позднее в „Станционного смотрителя“. Если эта догадка верна и герой „Записок“ должен был по мысли Пушкина в той или иной мере повторить путь блудного сына (а роль этого сюжетного мотива в повествовательной структуре „Смотрителя“ свидетельствует в ее пользу), напрашивается мысль о связи оставленного замысла с размышлениями поэта о причинах трагического поражения декабристов и с выводами, к которым пришел он в ходе этих размышлений. Вспомним „Записку о народном воспитании“, где Пушкин писал: „Россия слишком мало известна русским; сверх ее истории, ее статистика, ее законодательство требует особенных кафедр. Изучение России должно будет преимущественно занять в окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою, имея целью искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве“ (XI, 47).

Герой „Записок“ вынес из школы отвращение к надоевшим кадету немецким и французским вокабулам, способность к некоторым „математическим исчислениям“ (VIII, 403) и некую сумму нравственных представлений, которые ему предстоит проверить на собственном опыте. Предстоит ему узнать и другое. „Тесный ряд однообразных изб“, „кое-где две-три яблони, две-три рябины“, „златовласые, замаранные ребятишки“, старуха, которая „сидит подгорюнившись“, избегающий „порядочного разговора“ с барином ямщик, „тощий озимь“, „полосатые версты“ (VIII, 404—405) — все то, на что сейчас он отзывается рефреном „Какая скука!“, со временем, вероятно, соединится для блудного сына в сознательном чувстве „родины“. И все же вряд ли основательно предположение Тюпы, что Пушкин собирался написать повесть о раскаявшемся декабристе. Пример „Станционного смотрителя“ показывает, насколько сложным мог оказаться контрапункт между историей „отрока Библии“ и сопоставленной с нею судьбой пушкинского героя. Возвращение в „отеческое“ лоно благонамеренного существования не единственный выход для юноши, втянутого событиями в восстание черниговцев. Судьба И. И. Муравьева-Апостола и А. Д. Кузьмина показывает, что перед лицом дилем-

¹⁰ См.: Н. Я. Эйдельман, Апостол Сергей. Повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле. М. 1975, с. 220—221.

¹¹ А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VI. М.—Л., 1957, с. 790 (примечания).

мы: бесчестие или смерть молодой прапорщик мог выбрать самоубийство. „Записки“ же героя, шаг за шагом и день за днем отразившие перипетии, которые привели его в ряды мятежников, сохранены для потомства одним из его друзей. Таким в этом случае мыслилось литературное обрамление исповедальной повести прапорщика Черниговского полка.

Осмысленный в контексте последующего творчества Пушкина вывод этот позволяет высказать некоторые догадки относительно дальнейшей судьбы замысла „Записок молодого человека“.

Болдинской осенью 1830-го года на последней странице черновой рукописи первой написанной им повести, „Гробовщика“, Пушкин набросал предварительную программу дальнейшей работы над циклом — перечень из пяти названий: „Гробовщик. Барышня крестьянка. Ст.(анционный) смотритель. Самоубийца. Записки пожилого“ (VIII, 581). Б. В. Томашевский, которому принадлежит приведенное чтение последнего из названий (оно зачеркнуто волнистой чертой и не поддается уверенной расшифровке), считал возможным, что за ним скрываются „Записки молодого человека“¹², другими словами, что в момент составления перечня Пушкин предполагал осуществить замысел 1829 года в рамках задуманного сборника повестей.

Список, о котором идет речь, составлен тогда, когда „Гробовщик“ был уже готов, и Пушкин сразу же прямой чертой вычеркнул его название. По окончании следующей повести, „Станционного смотрителя“, была зачеркнута и эта, третья строка перечня. Вероятно тогда же название „Барышни крестьянки“, к которой Пушкин собирался теперь приступить, было отмечено спереди вертикальной чертой, а перед записью „Самоубийца“ появился неопределенный значок, который обычно воспроизводят как знак „плюс“, но это в значительной мере условно.

О замысле повести „Самоубийца“ других сведений нет. Оксман считал вероятным, что это название соответствует замыслу „Выстрела“¹³, но со временем это предположение отпало за отсутствием новых аргументов. Думается, что изложенные выше соображения позволяют высказать гипотезу относительно характера связи, существовавшей между созданием „Смотрителя“ и отказом Пушкина от намерения написать повесть о самоубийце.

Как известно, в ходе работы над второй из болдинских повестей Пушкин решил использовать в ней уже существовавшее в тексте „Записок молодого человека“ описание картинок с историей блудного сына. Новый замысел, усвоивший важнейшую художественную идею, которая определилась в экспозиции „Записок“, был осуществлен в несколько дней. Зато „Записки“ вместе с описанием картинок лишились основного нерва, на котором основывался замысел их сюжетного движения. Возможно, что Пушкин пошел на это потому, что тема трагической судьбы молодого дворянина, замешанного в восстании декабристов, при любом повороте в ее конкретной разработке вряд ли была возможна в подцензурной печати 1830-х годов. Так или иначе, на ближайшее время это решило судьбу пушкинского замысла.

„Станционный смотритель“ унаследовал от „Записок“ тему блудного сына с ее важнейшими структурными и содержательными функциями и сопряженную с нею уже в „Записках“ тему дороги, жизненного пути. История станционного смотрителя

¹² А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VI, с. 758, 790.

¹³ А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в 6-ти т., т. IV, с. 717.

и его дочери — и это сейчас общепризнано — через посредство древней притчи о блудном сыне соотнесена с обширной литературной традицией; житейский случай, представленный в его социально-бытовой конкретности, раскрывает на фоне библейского рассказа свое надбытовое, философское содержание. Но этого мало. Вместе с порицающим библейского отрока описанием картинок герой-повествователь „Смотрителя“, юноша А. Г. Н. усвоил черты мировосприятия, ранее сообщенные Пушкиным прапорщику из „Записок молодого человека“. Однако психологический облик героя „Записок“ предстал в новой повести как *момент в развитии* рассказчика. И по мере того, как героиня повести в беспредельно усложненном виде повторяет историю блудного сына¹⁴, читатель узнает и о другом — о том, как ригоризм скорой на суд молодости А. Г. Н. сменился трезвым пониманием бесконечной сложности живой жизни. Восстанавливая со слов участника и очевидцев разыгравшуюся уже не на картинках, а наяву драму, рассказчик не обвиняет: он размышляет, он сочувствует и сострадает ее героям. Рассказанные им события повести доносят до нас печать его восприятия, а с нею — историю душевного развития самого А. Г. Н., разделяющего судьбу всех персонажей „Смотрителя“, среди которых нет ни одного не подвластного движению времени.

Воплотив отчасти в „Станционном смотрителе“ те художественные идеи „Записок молодого человека“, которые заставляют вспомнить о романе воспитания, Пушкин несколько лет спустя снова вернулся к оставленному замыслу, привлеченный на этот раз идейно-художественным комплексом, определявшим самую суть его философско-этической проблематики. Речь идет о возобновившемся интересе поэта к образу молодого человека, совершающего на жизненном своем пути первые самостоятельные шаги, вовлеченного в сложные исторические события, которые испытывают и формируют его человеческий и гражданский облик. „Молодой прапорщик, — писал недавно о герое „Записок“ Н. Я. Эйдельман, — как нетрудно заметить, имеет немалое сходство с другим, позднейшим пушкинским героем — Петром Андреевичем Гриневым: одинаково молодые, веселые, беспечные — они едут к месту службы, не подозревая, что попадут в жесточайшую переделку [...] и очень может быть, что молодой человек, как и Гринев, окажется „мятежником поневоле“, стремящимся найти свое место в происходящем. Петербургский прапорщик, такой, как написан у Пушкина, вряд ли имеет какие-либо понятия об освободительных, декабристских идеях [...] Но в то же время [...] сможет ли [он] отступить, отпраздновать труса, когда восстанут товарищи? Ему придется задуматься, очень и очень серьезно, непривычно, — где же истина“¹⁵. Эйдельман, как видим, прочел пушкинский замысел 1829 года сквозь призму помеченной им связи между безымянным прапорщиком и Петрушей Гриневым, и это помогло ему проникнуть в существо замысла оставленной повести. Но он не обратил внимания на то, что в третьей главе „Капитанской дочки“ слышны явные отголоски „Записок“, что в ней оживают некоторые элементы поэтики и даже частные интонации, знакомые нам по тексту 1829 года.

По прибытии в Белогорскую крепость Петруша Гринев видит в доме коменданта „лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор

¹⁴ См.: Н. Я. Берковский, О „Повестях Белкина“. — В кн.: Н. Я. Берковский, О русской литературе. Л., 1985, с. 88—90.

¹⁵ Н. Я. Эйдельман, Пушкин. Указ. соч., с. 123.

невесты и погребение кота“ (VIII, 295). Репертуар картинок как и характер их связи с сюжетно-фабульным действием здесь иной. Можно полагать, что картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, — дань воинственным занятиям, да и воспоминаниям капитана Миронова; „выбор невесты“ предвещает как будто судьбу Гринева. Единственный лубочный сюжет, перешедший в „Капитанскую дочку“ из „Записок“, — „погребение кота“. Молодой прапорщик причисляет его к тем картинкам, „которые в нравств.[енном] как и в художеств.[енном] отношении не стоят внимания образованного человека“ (VIII, 404), и думается в этом случае он проявил не более дальновидности, чем осудив безоговорочно блудного сына. Для народной мудрости мыши, торжествующие кончину хитрого и злобного врага, — пример наивной доверчивости и пагубной непредусмотрительности. В картинке этой можно видеть символ недолгого торжества восставшего народа и жестокой его расплаты за порыв к воле.

Но не одни картинки, украшающие дом капитана Миронова, напоминают в „Капитанской дочке“ о „Записках молодого человека“. Оказавшись на отведенной ему квартире, Гринева „стал глядеть в узенькое окошко“ и так описывает свои впечатления: „Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня“ (VIII, 296). Если не текстуально, то по существу это близкий аналог картины, которая открывается перед героем „Записок“ 1829 года из окна почтового домика и при прогулке его в поле и которая отзывается в юном наблюдателе рефреном „Какая скука!“ (VIII, 404).

Подмеченные параллели наводят на мысль о том, что „Капитанская дочка“ усвоила замысел „Записок молодого человека“, перенеся сходную ситуацию в другую историческую эпоху, связав ее не с выступлением декабристов, а с событиями крестьянской войны 1773—1775 годов. В герое „Записок“ можно видеть первое приближение Пушкина к образу Петруши Гринева. Важно отметить и другое: обращался ли Пушкин-художник ко времени восстания Черниговского полка, или к эпохе пугачевщины для воплощения своего замысла он избирал форму записок честного молодого дворянина, втянутого обстоятельствами в орбиту бурных событий и в ходе их достигающего человеческой зрелости.